

МНЕНИЕ

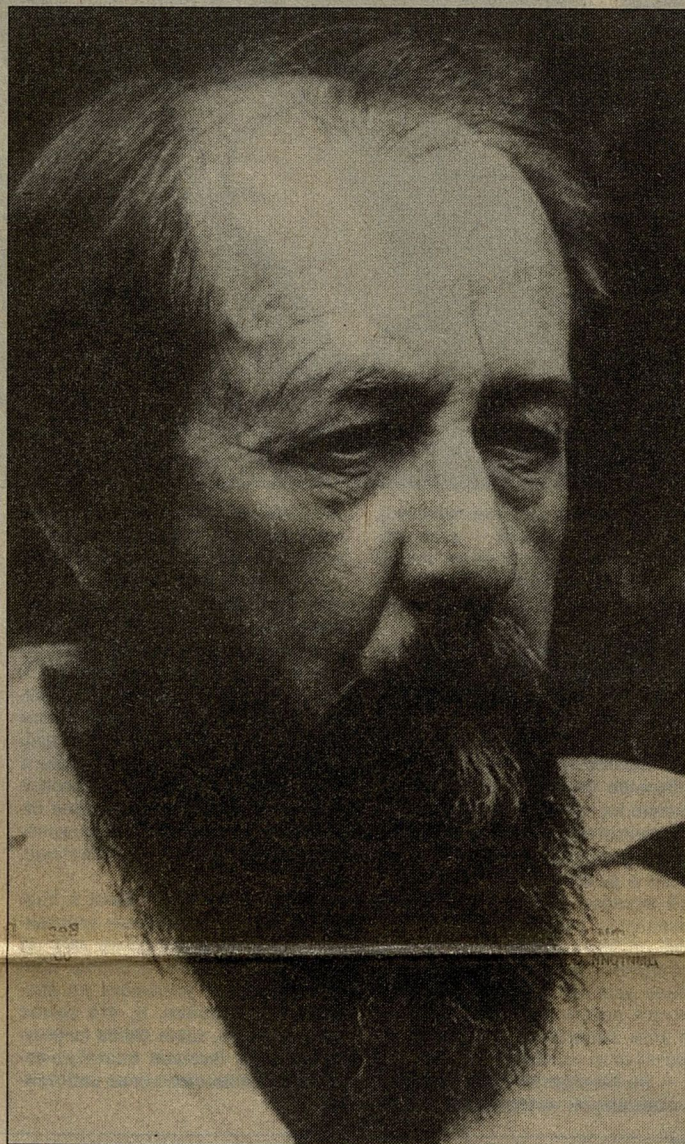
Литературное событие

Только что в библиотеках появился 12-й (за 1999 год) номер «Нового мира», где в разделе «Дневник писателя» помещен очерк Александра Солженицына «Иосиф Бродский — избранные стихи». Нерядовой факт литературной жизни, по-особому воспринимаемый именно сейчас, когда февральское присуждение очередной Солженицынской премии Валентину Распутину вызвало дежурный выплеск отнюдь не литературной злости постмодернистов к Солженицыну.

Еще недавно благостный Френсис Фукуяма предвещал пресловутый «конец истории», освобождающий цивилизованное общество, будто бы нашедшее терминальную «модель демократии», от необходимости думать о будущем, бороться и искать... Идиллия не состоялась. Зато длится еще «отпускной период» отечественной литературы с календарными хорошо субсидируемыми застольями, философскими пародами — не на голодный желудок — и бутафорскими экспедициями интеллектуалов в глубинку — будь то финский Ювяскюля или провинциальный городок Мышкин. Постмодернист Михаил Берг не впервые раздраженно внушает нам, что «писатель — в лучшем случае собеседник, интеллектуал, комментатор прошлого и настоящего, творец парадоксальных или банальных интерпретаций, в худшем — создатель либретто для мыльных опер». Но как бы ни противился Берг «реанимации» роли писателя как властителя дум, на сей день в нашей литературе конца века — два первых лица, получивших мировое признание. Это — нобелевские лауреаты Солженицын и Бродский. И только они определяют собой подлинный ландшафт отечественной словесности. Поэтому развернутое рассуждение одного из наших «олимпийцев» о другом — событие особой значимости. Тем более что в русской классике гении, как правило, не взаимодействуют; куда охотней они общаются с «подмастерьями» (Грибоедов — Булгарин, Лев Толстой — Страхов, Бродский — Евгений Рейн и т. п.). Ухитрились не встретиться и не завязать знакомства Толстой и Достоевский, Набоков и Солженицын. Иногда встречаются свидетели «задним числом», как, например, такое: «Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним, и вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый, самый близкий, дорогой, нужный мне человек». Это Лев Толстой пишет Страхову о Достоевском.

С другой стороны, нелюбимые отзывы равного о равном способны — как в физике световой квант, падающий на объект микромира, — сдвинуть выработанные критикой и литературоведением оценки: ведь судит-то небожественный мудрец... Вспомнить хотя бы принижение Пушкина радищевских заслуг. Или «Письмо Белинского к Гоголю»... Есть и особый аспект нашей читательской настороженности к высочайшим литературным вердиктам — «силой личности все

дозволено», и нам весьма неуютно натолкнуться на толстовское «Бетховен — бездарность». Да и слова о «Повестях Белкина» — «недостойны ни таланта, ни имени Пушкина» — принадлежат не кому-нибудь, а Белинскому. Слово мастера удрает болезненно. И еще — неписанное табу: об ушедших критически не судят... За очевиднейшие ляпы — «со сна садится в ванну со льдом» и «Ужо, постой!» просвещенные читатели обижались не на Пушкина и Бло-



ка, а на обнаружившего эти «воляпуки» Алексея Крученых... Срабатывает механизм общественного отторжения — не только критики — любых попыток подойти к творчеству классика имьярем со скальпелем непредвзятого анализа. Об этом хорошо написал Самуил Лурье: «Но еще хуже, когда человека сделали классиком. Сначала

Солженицын о творчестве Бродского

долго-долго мучили, терзали, не печатали, убивали, а потом разрешили и стали писать о нем диссертации. И тогда уже не скажи о нем дурного слова». И настораживаются в готовности новоявленные «приватизаторы» творческого наследия Бродского: как это, мол, Солженицын смеет называть какое-то сравнение Бродского «натянутым». Оскорбление, да и только...

Побавляемся мы «высочайших вердиктов» и в силу некоторой заносчивости иных из литературных «генералов». Известна презрительность Набокова ко всему, что не он сам: «Солженицына не читал, телевизор не смотрел». Да и сам объект солженицынского анализа —

«Мандельштам — масса провалов». «Блок — человек и поэт во многих своих проявлениях чрезвычайно пошлый» (!). Какой-то литературный Собакевич... Справедливости ради вспомним, что и на себя Бродский иногда раздражался: «Переводил «Квартеты» Элиота, но это вышло довольно посредственно, слишком много отсебятины». (Все цитаты абзаца — из книги Соломона Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским».)

Надо упредить и еще один «методологический» противовод: нельзя-де выбрать для анализа отдельные стихи, даже сборники — судить надо по «всему» творчеству... Литература — это не изюм в сайке. И на это — два ответа, общий и частный. Общий: и самое великое произведение по разным меркам оценивается обывателем и мастером. Первому — до гроба умиляться и благоговей; мастеру же дано видеть не только вершины, но и промахи. Поэтому суждения равного о равном выглядят иногда субъективно заниженными. Частный ответ: сам Бродский чаще других выбирает исключительно «изюм». А перлы — всегда штучный товар. Вот примеры: «Хорошие — очень — стихи о войне у Бориса Слуцкого, пять-шесть у Тарковского Арсения Александровича». Или — о Цветаевой: «Самое лучшее из всех ее «белогвардейских» стихов — это восемь строчек, кончающихся «за словом «долг» напишут слово «Дон».

Понятно, почему неожиданный очерк Александра Солженицына бьет по живому. Имеющий право да говорит. И привстают в тревоге околелитературные «фигуранты» из тех, кого сам Бродский презрительно именует «специалистами по биографиям». Ведь Солженицын, игнорирующий литературный «гарнир», смотрит только на главное. Участники симпозиумов, «круглых столов» и конференций «по Бродскому» хозяйственно разбирают по рукам его наследие. Кому достается пятистопный анапест, кому — элегии, кому — реминисценции в творчестве классика. Есть и работа про «образ рояля у Бродского»... Солженицын не таков. В чем суть творчества, особенность творческой личности, каков вектор цели автора — вот его вопросы. Чем он ценен и насколько?

Вопрос о ценности для иных, что сатане — крест. Плодовитый французский эссеист Морис Бланшо еще в середине столетия сосредоточился на отрицании всего значимого в искусстве. «Задача (критики). — Г.В., — писал он, — чтобы уберечь и изобразить наше мышление от понятия ценности». Вот где сталкиваются те, кому литература — игра, комментарий, мыльная опера, и те, кто нынче ходит в

«архаистах». «Хорошо бы нам иногда вспоминать, — пишет критик Алла Латынина, — как прогрессивная критика в экстазе либерального мракобесия травила Достоевского, Фета, Лескова, чтобы потом сохранить строчкой в примечаниях в их собраниях сочинений». И Солженицын подоспел вовремя — не утаили бы те и Бродского! «Где-то в середине 80-х или несколько раньше, — свидетельствует близкий знавший поэта Александр Кушнер, — в его поэзии появилась интонация равнодушия и заведомого отрицания всех ценностей. Сотни поэтов перенесли презрительно-высокомерную интонацию некоторых поздних его стихов». И как тут не привести убийственную реплику еще одного нобелевского лауреата, польского поэта Чеслава Милоша, заметившего, что произведения Пастернака и Солженицына судят современную литературу посредством «восстановления в правах иерархии ценностей, отказ от которых способен свергнуть человечество в безумие... Они заново разграничивают то, что существенно в человеческой жизни, и то, что признают для себя важным все, кто с жиру бесится».

Учитывая напоминание Александра Кушнера, можно ожидать, что Солженицын будет особенно суров — это придает сюжетную заостренность нашему чтению очерка. Ведь сталкиваются два мировоззрения. Кредо Бродского высказано им в нобелевской речи: «Человек является существом эстетическим прежде, чем эстетическим. Литература и, в частности, поэзия, будучи высшей формой словесности, представляет собой, грубо говоря, нашу видовую цель». Нобелевская речь Солженицына противонаправлена: «Что же может литература против безжалостного натиска открытого насилия? А не забудем, что насилие не живет одно: оно непременно сплетено с ложью. Против многого в мире может выстоять ложь, но только не эстетика искусства. А едва развее-на будет ложь, — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет... Одно слово правды весь мир перетянет».

Недавно это место из солженицынской лекции цитировал наш министр иностранных дел перед собравшимися исключить Россию из Совета Европы высокопоставленными защитниками прав ичкерийских бандитов и внес смятение в их ряды: не добрали те голосов для исключения!

Не литература — «высшая видовая цель» человечества, а его выживание: ведь человек — по Солженицыну — постоянно стоит перед лицом поражения. Литература — средство выживания,

средство отыскания истины как высшей ценности — важнейшего оружия человечества.

Но этическое не противопоставлено эстетическому. Каждое — по Солженицыну — не одно «прежде» другого, а только одновременно. И не случайно учрежденная им литературная премия присуждается лишь тем, кто «обладает высшими художественными достоинствами, способствует самопознанию России, вносит значительный вклад в сохранение и бережное развитие отечественной литературы».

В «Литературной коллекции» Солженицына Бродский оказывается компаньоном Андрея Белого — автора романа-эпопеи «Петербург». Там собраны самые знаковые имена русской литературы XX века, что гарантирует их от переоценки масштабов. Знаменитый коллекционер вглядывается в их наследие, надеясь «выжать» еще невоспринятое, увидеть свежим глазом пропущенные нами ценности. Это — первый опыт инвентаризации, столь изощренной, нашего добра. Жанр — мысленный диалог с уже давно ушедшим классиком, — а то и додумывание за него. Тут возможны и восхищение, и недоумение, и сочувственная досада. Думается, обласканный в последние годы жизни Иосиф Бродский все же не слышал столь эмоциональных похвал в свой адрес. Да и еще — от кого же?..

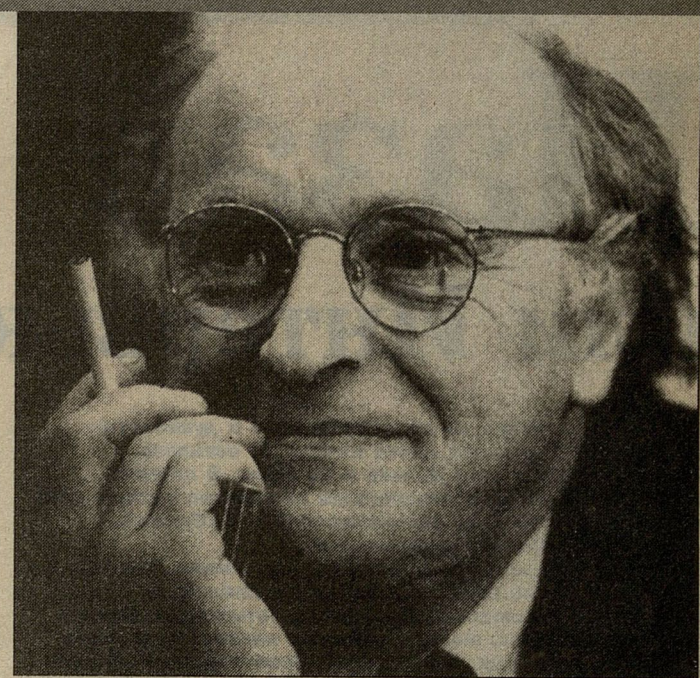
В рифмах Бродский неистов и высокоинтеллектуален, привлекает их из языка там, где они будто и не существуют;

— прекрасные строки: «то ли песня навзрыд сложена / и по смертно заучена»;

— текут виртуозные строфы; — «Письма римскому другу» звучат и дышат так, будто и в самом деле дошли к нам из древнего Рима;

— во всех его возрастных периодах есть отличные стихи, превосходные в своей целостности, без изъяна... Великолепна «Бабочка» и графическая форма стиха, и краткость строк передают порхание ее крыльев (тут и мысли свежи); «На столетие Анны Ахматовой» — из лучшего, что он написал, сгущенно и лапидарно. «Памяти Геннадия Шмакова»: этот стих поражает блистательной виртуозностью, фонтаном эпитетов. И, наконец, разительный «Осенний крик ястреба»... Это не только его автопортрет, картина всей его жизни.

Дорого стоит и одобрительный выхват «На смерть Жукова», тем более что в недавнем своем рассказе «Ерка» Солженицын дал заведомо сниженный образ маршала; для него это вовсе не идеальный герой. Да и Бродский, по его же признанию, за это стихотворение «много дерьма съел» — от «ди-пи», советских



невозвращенцев, от прибавок, «которые от Жукова натерпелись». Солженицын не упускает заметить «отчетливость» — до прозрачности в насмерти Жукову, а строки «смело входили в чужие столицы, / но возвращались в страхе в свою» сопровождают восклицанием «отлично сказано!».

Но — здесь и далее — Солженицын играет на «чужом поле», перечисляет Бродского в курсе его сугубо языковых достижений. Синтаксис, грамматика, лексика поэзии Бродского — вот на что нацеливает он рентген своего анализа. И тут же оценки жестки и нелюбимы. Вот некоторые из них: «От поэзии его стихи переходят в интеллектуально-риторическую гимнастику»; «Очень расширил пределы рифмы. И повторы рифм у него редки, кроме злоупотребляемого выноса предложения под конечное ударение»; «В угоду сложной форме строф Бродский увлекается многоречием, бывает вынужден наполнять иные строфы вставными сторонами или банальными, а то и пустыми строками»; «Грубую разгворность он вводит в пресыщенные, неоправданные поэмы».

Кстати, на злоупотребление Бродским вульгарными оборотами уличного языка — Солженицын деликатно именует их «языковыми диссонансами» — обращали и раньше внимание друзья поэта. В «Тысячелистнике» Кушнера запечатлены такие примеры: «чем мускулистый корень, тем осенью больше бздо» — ну что это такое?.. От коллекционирования таких досадных необязательностей рукою подать до вывода — не совсем русский это язык. «Весь дух его интернациональный, у него отприродная многосторонняя космополитическая приемственность». «Следы поиска всюду, но не мешают находкам поза надменной отстраненности? монотонная мизантропия? некая наигранность интеллекта?»

Эстетический поиск не помогает выживанию — монотонная мизантропия вырастает в витавобию. «Одна цель — созреть для смерти»; «задолго до нее Бродский всячески примерял к себе смерть. И тут — едва не основной стержень его поэзии».

Нельзя не пожалеть его.

Выросший на русской почве, Бродский оказался не прижившимся к ней: «Облаком нависла сущностная отчужденность Бродского от русской литературной традиции, исключая расхожие отголоски, оттуда выхваченные; чужость мировоззренческой, интеллектуальной сути ее»; «Глубинных возможностей языка Бродский вовсе не использовал, огромный органический слой русского языка как не существует для него или даже ему неизвестен».

Остающийся вне общества, вне религии Бродский не мог обратиться к иронии, которая стала «органической» частью его мироощущения. Это «снобистская поза», диктующая ему «строить свой стиль на резких диссонансах и насмешке». Пренебрежение этическим в творчестве оборачивается и эстетической глухотой, в первую очередь — поразительной немужественностью его творчества, в чем признавался он сам («моя песня была лишена мотива»). Проникновеннейшие языковые эксперименты обернулись выпадением из национальной речевой традиции, а вовсе не реформированием русского литературного языка. И скрепляющее резюме Солженицына: «Он был всегда элитарист, так и говорил откровенно. Он — органический одиночка. Потрясающая примерка на себя будущей смерти вместо борьбы за выживание».

Невозможно требовать от поэта большего: нобелевское величие — это свидетельство о прописке имени в вечности. Но Солженицыну этого мало: он лучше многих видит, «каким естественным и благодарным путем развития мог бы пройти Бродский». Об этом лишь «некоторые стихи ранней молодости... дают нам представление». Сколько же было в нем заложено!

Кто виновен?

Эпоха ли, век, советский режим, изначально ли скошенные нравственные ориентиры (эстетическое прежде этического) — не знаем. Огромность этой трагической фигуры в полный рост явлена в очерке «Иосиф Бродский — избранные стихи».

Георгий ВАСЮТОЧКИН